

Фалинская (в замужестве — Желтова, Малышева) Анна — моя мама. Моего деда, Фалинского Войтиха, поляка по национальности, в 44-м убили бандеровцы. О том, как это случилось, я слышал и от бабушки, и от мамы, и от других родственников. Во всех рассказах чувствовалась недоговорённость — было неясно, где во время убийства находилась старшая дочь Войтиха. Однажды, в начале перестройки, мамин брат проговорился, что Аню немцы угнали в Германию на принудительные работы.

Мама же заговорила на эту тему только в 91-м.

Своё почти полувековое молчание она объяснила страхом ещё и потому, что в фашистской неволе оказалась добровольно, а её первый муж Желтов Г.И. во время ссор угрожал ей доносом. «Сейчас я уже ничего и никого не боюсь, не долго мне осталось жить, — сказала она, уступая нам с сыном в настойчивой просьбе записать её воспоминания на магнитофон.

Вот её рассказ.

«Пока я была единственным ребёнком в семье, мать с отцом чуть ли не тряслись надо мной, как могли, баловали. После рождения брата, а потом и сестры всё изменилось.

Жили мы бедно. Мама картошку сварит, редко когда польёт простоквашей, чаще подбеленной молоком водой. Отца я боялась. Он меня бил. Сильно бил. Последний раз отец бил меня мокрой



Желтовы Григорий Иванович и Анна Войтиховна. 1957 г.

плетёной веревкой с узлами — за то, что я, подначиваемая соседями, наговорила ему всяких гадостей. От боли я орала так, что даже тётка Мария, жившая по соседству, прибежала: «Войтку, ты что, сдурел?! Урода потом кормить будете!».

В июле 42-го мне ещё и четырнадцать не исполнилось. В списках на отправку в Германию я не значилась — значились старшие сёстры моей подружки-одноклассницы Наталки Харечко — Мария и Катерина. Родители девочек больше переживали за Катьку, она была очень красивая — боялись, что немцы изнасилуют.

Харечко жили лучше нас, картошка-то у них была со сливками! Сидим, едим. Родители обсуждают, как хотя бы Катерину убедить от угона. А я возьми да скажи: «Ой, а я бы с удовольствием! Сколько можно терпеть отцовы побои!»

Харечко мама пошла в комендатуру: «Аня Фалинская вместо нашей Кати готова поехать». А коменданту какая разница, кто, ему лишь бы количественную норму выполнить.

Когда нас на станции в вагон-скотовоз загоняли, отец плакал: «Я тебя, Аня, больше не увижу». Как будто чувствовал! Поезд тронулся — мне стало страшно. Очень страшно. У Харечко была лошадь, они на лошади провожали нас до Львова — всё на что-то надеялись. Везли нас несколько дней. Старшие женщины не стеснялись — справляли нужду прямо в вагоне. А мы, молодёжь, терпели до остановок. И оказалась я в городе Ландсберг (ныне — Го-

жув Великопольский. — В. Ж.), Марийка Харечко где-то поблизости, но мы с ней увиделись только после войны.

Немцы выбирали себе работников, как рабов. Осмотрят со всех сторон, мышцы пощупают. В рот разве что не заглядывали. Меня взял приятный на лицо, седой, усатый старик. Привёз домой — я не помню, на чём вёз, но помню, как нас встретила его жена — пожилая, очень полная женщина. Я не понимала, о чём они говорили — могла только догадываться: «Кого ты привёз? Это же дитя! Какой из неё работник?».

Повели по дому. По сравнению с нашей хатой-развалюхой — настоящий дворец. Застеклённая веранда, широкий коридор, кухня большущая, несколько комнат. Одну выделили мне — ту, что у кухни. Стали меня кормить. Я ела, ела и никак не могла наесться, особенно налегала на хлеб. Боялась, что больше такого вкусного хлеба не поем никогда. Старики переглядывались: когда же она наестся, наконец?!

Фамилия их не то Шандор, не то Сандор. А может, Шандер? Женщину звали Эльза, мужчину — Фердинанд. Но они мне сказали, что я должна их называть муттер и ватер. То есть мама и папа. Произносила я не «ватер», а «фатер». Меня не поправляли.

Рабочих немцам давали только тем, у кого кто-то был на фронте, в армии. Шандоры — исключение из правил. Оба их сына (одному было лет 18, другому 20), купаясь, утонули. Один начал тонуть, другой бросился спасать... Сколько у фрау Эльзы одежды ни было — вся чёрная. Одно только платье — голубое. Очень редко она его надевала.

Ко мне мои старики относились хорошо. Многих, как я работавших на хозяев, знаю, обижали, даже били, кормили отдельно, и еда для них варилась отдельно. Мой случай, возможно, исключение из правил. За стол я садилась вместе с хозяевами. Что ели они, то ела и я. Разве дома я знала, что такое колбаса?! Разве дома я спала в постели, под которой действительно можно было почувствовать горошинку?

Но всё равно на моей одежде была нашивка «OST». Я не имела права одеваться, как немцы. Одежду нам выдавали. Обувь — кожаные полуботинки на деревянной подошве. Лёгкие. Удобные. Ноги не уставали. Они мне очень нравились. Может быть, потому что в деревне у меня нормальной обуви никогда не было. А на поле вообще все работали в сабо.

Хозяйство у стариков Шандор было большое — несколько коров (восемь или десять, сколько точно — сейчас не скажу), ло-

шадей не меньше четырёх, свиньи, птица. Огромные поля и луга, рядышком с домом.

Рабочий день начинался с дойки коров. Первое время хозяйка меня на дойку не будила — жалела, пока однажды я сама не проснулась, услышав, как на кухне бренчат вёдра, и не вышла из своей комнаты. Фрау Эльза говорит: «Раз уж ты встала, идём коров доить».

Немецкому языку я, кстати, быстро научилась, читать даже могла. У немцев многие работы были механизированы. Я любила работать на «конных граблях» (как они назывались, не вспомню). Дома я такой техники даже не видела. Запряжешь лошадь, сядешь на специальное сидение и разъезжаешь по лугу как барыня.

Я не переставала удивляться образу жизни немцев. Старик спал в одной комнате, старуха — в другой. Молоко утром выставляли на лавку у ворот, приезжала машина с молокозавода, забирала; возвращаешься вечером с поля — на лавке на бидоне лежит творог или масло, что заказали. Сено немцы подсаливали — после войны те, кто был на принудительных работах в Германии, и дома так стали делать. Свиней сами хозяева не закалывали. К Шандорам приходил неприятный, с мордой, как у бульдога, мужик. Он обязательно выпивал стакан свежей, тёплой крови. В погребе всё — соленья-варения, тушёнка — расставлено в «хронологическом порядке» — на каждой банке дата изготовления указана. Запасов — на многие годы!

Одно недолгое время в доме Шандоров жил немецкий лётчик с женой. На какой-то его вопрос я ответила грубо. Вероятно, потому что жила я не как рабыня, а чувствовала себя чуть ли не хозяйской дочкой. И услышала:

— Я тебя сейчас подвешу!

— Я те подвешу! — огрызнулась по-украински.

Лётчик украинского языка не знал, а то точно болталась бы я под потолком. Старики стояли рядом и дрожали. На этот раз всё обошлось. А другого раза уже не было — к Ландсбергу стремительно приближалась Красная Армия.

Немцы — гражданское население — очень боялись прихода русских. Многие, очень многие, в первую очередь молодёжь, семьями с детьми, уезжали, уходили на Запад. Скот выпускали из хлевов, чтобы не погиб с голоду. Немцы думали: придут русские — будут убивать, грабить, насиловать. Всё было — и убивали, и грабили, и насилывали. Немки, они ж красивые, опрятные, когда рус-

ские пришли, платки повязывали так, что пол-лица не видно, а то, что видно, сажей вымазывали.

Я не сразу уехала домой. Русские обязали стариков Шандор печь хлеб и возить на армейскую кухню. Им это делать было уже не по силам. Пекла я. Старики мои очень надеялись, что я за них заступлюсь. А что я могла сделать? Кому и что сказать? Почталыонша — она Шандоров очень любила — ко мне относилась хорошо, и мне нравилась — прибежала:

— Поговори с солдатами, чтобы отпустили моего мужа, он же не виноват в том, что его призвали на воинскую службу.

Муж её незадолго перед тем дезертировал из немецкой армии, вместе с сослуживцем скрывался дома. Солдаты их нашли.

— Кто меня послушает? — только и сказала я.

Слова мои были расценены как нежелание помочь, спасти людей. Вскоре стало известно: дезертиров этих застрелили при попытке к бегству.

В городе всё было брошено. Заходи в любую квартиру — бери что хочешь. Понимая, что домой, на Украину, мне придётся добираться на попутках и, может быть, не одну неделю, я обзавелась только одним чемоданом, средних размеров. Набила его барахлом. В последний момент по углам рассовала три или четыре пары очень красивых туфель. Машин на Восток шло много: там подвезут, здесь подвезут. Бесплатно. Да и платить мне было нечем. Ночевать приходилось где придётся. Ну и однажды меня обворовали. Только дома я обнаружила, что из каждой пары было украдено по одной туфельке. Оставшиеся, непарные, долго ещё зачем-то стояли у нас на чердаке...

Таких, как я, называли репатриантами, а то и изменниками Родины. Будь изменницей, не вернулась бы — такая возможность была! От сталинских лагерей меня бог миловал, а страх не покидал до развала Советского Союза. А в чём я виновата? Только в том, что не смогла помочь старикам Шандор и немецкой почталыонше...»